

В. ВЕРЕСАЕВ

5

В. ВЕРЕСАЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

5
ТОМ

БИБЛИОТЕКА ОНЕНК
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРАВДА
МОСКВА 1961

Подготовка текста
и примечания
В. М. Н о л ь д е
и
Ю. У. Б а б у ш к и н а

ВОСПОМИНАНИЯ

*Памяти отца моего
Викентия Игнатьевича
СМИДОВИЧА*

И если я наполнил жизнь борьбою
За идеал добра и красоты,
О, мой отец, подвигнут я тобою,
Во мне возжег живую душу ты.

I. В ЮНЫЕ ГОДЫ

Краткую свою автобиографию Юм начинает так: «Очень трудно долго говорить о себе без тщеславия». Это верно.

Но то, что я тут описываю, было пятьдесят лет назад и больше. Совсем уже почти как на чужого я смотрю на маленького мальчика Витю Смидовича, мне нечего тщеславиться его добродетелями, нечего стыдиться его пороков. И не из тщеславного желания оставить «потомкам» описание своей жизни пишу я эту автобиографию. Меня просто интересовала душа мальчика, которую я имел возможность наблюдать ближе, чем чью-либо иную; интересовала не совсем средняя и не совсем обычная обстановка, в которой он рос, тот своеобразный отпечаток, который наложила на его душу эта обстановка. Буду стремиться только к одному: передавать совершенно искренно все, что я когда-то переживал,— и настолько точно, насколько все это сохранилось в моей памяти. Встретится немало противоречий. Если бы я писал художественное произведение, их следовало бы устранить или согласовать. Но здесь,— пусть остаются! Помню я так, как описываю, а присочинять не хочу.

Я сказал: для меня этот мальчик теперь почти совсем чужой. Пожалуй, это не совсем верно. Не знаю, испытывают ли что-нибудь похожее другие, но у меня так: далеко

в глубине души, в очень темном ее уголке, прячется сознание, что я все тот же мальчик Витя Смидович; а то, что я — «писатель», «доктор», что мне скоро шестьдесят лет, — все это только нарочно; немножко поскрести, — и осыплетя шелуха, выскочит маленький мальчик Витя Смидович и захочет выкинуть какую-нибудь озорную штуку самого детского размаха.

9 сентября 1925 г.

Я родился в Туле, 4/16 января 1867 года. Отец мой был поляк, мать русская. Кровь во мне вообще в достаточной мере смешанная: мать отца была немка, дед моей матери был украинец, его жена, моя прабабка, — гречанка.

Мой отец, Викентий Игнатьевич Смидович, был врач. Он умер в ноябре 1894 года, заразившись сыпным тифом от больного. Смерть его вдруг обнаружила, какою он пользовался популярностью и любовью в Туле, где всю жизнь работал. Похороны его были грандиозные. В лучшем тогда медицинском еженедельнике «Врач», выходившем под редакцией проф. В. А. Манасеина, в двух номерах подряд были помещены два некролога отца, редакция сообщала, что получила еще два некролога, которых за недостатком места не печатает. Вот выдержки из напечатанных некрологов. Тон их — обычный слащаво-хвалебный тон некрологов, но по существу все передается верно. Один из некрологов писал:

Кончив в 1860 г. курс в Московском университете, Викентий Игнатьевич начал и кончил свою общественную службу в Туле. Высокообразованный и человечный, в высшей степени отзывчивый на все доброе, трудолюбивый и до крайней степени скромный в своих личных требованиях, он всю свою жизнь посвятил служению городскому обществу. Не было ни одного серьезного городского вопроса, в котором бы так или иначе Викентий Игнатьевич не принимал участия. Он был в числе учредителей Общества тульских врачей. Ему же принадлежит мысль об открытии городской лечебницы при О-ве врачей, — этого единственного в городе всем доступного учреждения. Все помнят Викентия Игнатьевича как гласного Городской думы: ни один серьезный вопрос в городском хозяйстве не проходил без его деятельного участия. Но наибольшая его заслуга, это — изучение санитарного состояния города. Метеорологические наблюдения, изучение стояния грунтовых вод и их химического состава, исследование городской почвы, направления стоков, — все это велось одним Викентием Игнатьевичем с удивительным постоянством и настойчивостью. Он принимал

деятельное участие и в работах Статистического комитета, провел мысль о необходимости однодневной переписи и разработкою ее с санитарной точки зрения положил прочное начало санитарной статистике в Туле. Он устроил Городскую санитарную комиссию и до самой смерти был главным ее руководителем и работником.

Во всех общественных учреждениях, в которых он участвовал,—пишет автор другого некролога,—Викентий Игнатьевич пользовался большим уважением и авторитетом, благодаря своему уму, твердости убеждений и честности. Везде он был самым деятельным членом, везде много работал,—больше, чем казалось бы возможным при его обширной и разнообразной деятельности... Он пользовался в Туле обширной популярностью не только как врач, но и как хороший человек. Как пояснение отношения к нему населения я могу привести, между прочим, следующий характерный факт: католик по вероисповеданию, он был выбран прихожанами православной Александро-Невской церкви в члены приходского попечительства о бедных. В. И. был широко образованный человек, и не было, кажется, такой научной области, которую бы он не интересовался. В доме своем он имел недурно оборудованную химическую лабораторию, которую с готовностью отдал Санитарной комиссии, не имевшей вначале собственной лаборатории. Викентий Игнатьевич оставил после себя хорошее минералогическое собрание и обширную библиотеку по самым разнообразным отраслям знания... Он принадлежал к тому редкому типу людей, которые, вместе с природным недюжинным умом, обладают обширным образованием, добрым сердцем, благородным характером и скромностью истинного философа... Вне сомнения,—замечал один из некрологов,—в ближайшее время появится подробная биография этого замечательного человека (*«Врач», 1894, №№ 47 и 48*).

Таков он был. И до последних дней он кипел, искал, бросался в работу, жадно интересовался наукою, жалел, что для нее так мало остается у него времени. Когда мне приходилось читать статьи и повести о засасывающей тине провинциальной жизни, о гибели в ней выдающихся умов и талантов, мне всегда вспоминался отец: отчего же он не погиб, отчего не опустился до обывательщины, до выпивок и карт в клубе? Отчего до конца дней сохранил свою живую душу во всей красоте ее серьезного отношения к жизни и глубокого благородства?

Помню,—это уже было в девяностых годах, я тогда был студентом,—отцу пришлось вести продолжительную, упорную борьбу с губернатором из-за водопровода. Тульским губернатором в то время был Н. А. Зиновьев, впоследствии правый член Государственного Совета по назначению. В Туле сооружался водопровод. Был под городом рогоженский колодезь с прекрасной водой. За эту воду энергично высказалось общество тульских врачей с его председателем, моим отцом, во главе. Но губернатор почему-то остановил свой выбор на надеждинском колодце.

Из самодурства ли, по каким ли другим причинам, но он упрямо стоял на своем. Между тем надеждинский колодезь давал воду очень жесткую, вредную для труб, расположен был на низком месте, недалеко от очень загрязненной рабочей слободы. Два года тянулась борьба отца с губернатором. Отец выступал против него в городской думе, в санитарной комиссии, в обществе врачей; конечно, потерял место домашнего его врача. Всемогуший губернатор одолел, и Тула получила для водопровода плохую надеждинскую воду.

Отец мой был поляк и католик. По семейным преданиям, его отец, Игнатий Михайлович, был очень богатый человек, участвовал в польском восстании 1830—1831 годов, имение его было конфисковано, и он вскоре умер в бедности. Отца моего взял к себе на воспитание его дядя, Викентий Михайлович, тульский помещик, штабс-капитан русской службы в отставке, православный. В университете отец сильно нуждался; когда кончил врачом, пришлось думать о куске хлеба и уехать из Москвы. Однажды он мне сказал:

— Сложись для меня тогда обстоятельства иначе,—

Я мог бы быть в краю отцов
Не из последних удалцов.

Отец поселился в Туле, в Туле и женился. Сначала служил ординатором в больнице Приказа общественного призрения, но с тех пор, как я себя помню, жил частной врачебной практикой. Считался одним из лучших тульских врачей, практика была огромная, очень много было бесплатной: отец никому не отказывал, шел по первому зову и очень был популярен среди тульской бедноты. Когда приходилось с ним идти по бедняцким улицам — Серебрянке, Мотякинской и подобным,— ему радостно и низко кланялись у своих убогих домишек мастеровые с зеленоватыми лицами и истощенные женщины. Хотелось, когда вырастешь, быть таким же, чтобы так же все любили.

Раз был такой случай. Позднюю ночью отец ехал в санках глухою улицей от больного. Подскочили три молодца, один схватил под уздцы лошадь, другие двое стали сдирать с папиных плеч шубу. Вдруг державший лошадь закричал:

— Эй, ребята, назад! Это доктор Смидович! Его лошадь!

Те ахнули, низко поклонились отцу и стали извиняться. И проводили его для безопасности до самого дома.

Папа, смеясь, говаривал:

— Мне по ночам ездить не опасно: все тульские жулики мои приятели.

Жизнь он вел умеренную и размеренную, часы еды были определенные, вставал и ложился в определенный час. Но часто по ночам звонили звонки, он уезжал на час, на два к экстренному больному; после этого вставал утром с головною болью и весь день ходил хмурым.

Жизнь он видел в мрачном свете и всегда ждал от нее самого худшего. Наши детские выходки и прегрешения он воспринимал очень остро и делал из них заключение о нашем совершенно безнадежном будущем. Когда мне было лет двенадцать-тринадцать, новая, постоянно грызущая душу боль вошла в жизнь отца, это — постепенный, все увеличивавшийся упадок практики. Когда отец приехал в Тулу, врачей на весь город было человек пять-шесть. Теперь было уже двадцать—тридцать врачей, и то и дело приезжали и селились новые молодые врачи. Отец встречал их очень радушно, помогал советами, указаниями, всем, чем мог. Но естественным результатом увеличения количества врачей было то, что часть практики переходила к новоприбывшим. А семья наша была большая, детей нас было восемь человек, мы росли, расходы увеличивались. Часто, по-видимому, отцом овладевало отчаяние, что он не сможет сам поставить на ноги всех детей,— и иногда он говорил нам, старшим двум братьям:

— Я воспитал вас,— а ваше дело будет, когда я умру, воспитать младших братьев и сестер.

Должно быть, очень глубоко мне тогда вошло в душу настроение отца, потому что я и теперь часто вижу все один и тот же сон: мы все опять вместе, в родном тульском доме, смеемся, радуемся, но папы нет. То есть, он есть, но мы его не видим. Он тихонько приезжает, украдкой пробирается в свой кабинет и там живет, никому не показываясь. И это оттого, что у него теперь совсем нет практики, и он стыдится нас. И я вхожу к нему, целую его милые старческие руки в крупных веснушках, и горько плачу, и убеждаю его, что он много и хорошо поработал в своей жизни, что ему нечего стыдиться и что теперь работаем мы. А он молча на меня смотрит,— и отходит, и отходит, как тень, и исчезает.

Дела у отца было по горло. Помимо врачебной практики и общественной городской деятельности, у него всегда была масса работ и начинаний. Из года в год он вел метеорологические наблюдения. Три раза в день записывались показания барометра, максимального и минимального термометра, направление и сила ветра. На дворе стояла деревянная колонка с дождемером, в глубине двора, у навеса, вздымался высоченный шест с флюгером. Записи, впрочем, больше вела мать; часто они поручались и нам. Отец вел широкие статистические работы; я помню его кабинет, весь заваленный стопочками разнообразных статистических карточек. В их сортировке и подсчете отцу помогали и мать и мы. Ряд статистических работ отца был напечатан в журналах. Вышла и отдельная книга: «Материалы для описания города Тулы. Санитарно-экономический очерк».

Когда я еще был совсем маленьким, отец сильно увлекался садоводством, дружил с местным купцом-садоводом Кондрашовым. Иван Иванович Кондрашов. Сначала я его называл Ананас-Кокок, потом—дядя-Карандаш. Были парники, была маленькая оранжерея. Смутно помню теплый, парной ее воздух, узорчатые листья пальм, стену и потолок из пыльных стекол, горки рыхлой, очень черной земли на столах, ряды горшочков с рассаженными черенками. И еще помню звучное, прочно отпечатавшееся в памяти слово «рододендрон».

На все, что кругом, отец не мог смотреть, не пытаясь вложить в это своих знаний и творчества. Помню, под его руководством печники клали печку в столовой. Они разводили руками и доказывали, что ничего из этой печки не выйдет. Но отец, приезжая от больных, каждый день проверял их работу, намечал, что делать дальше, и добродушно отшучивался на их предсказания о никчемности всей их работы. Печку сложили, затопили; оказалась великолепная; самым небольшим количеством дров нагревалась замечательно, вентилятор в ней действовал превосходно. Печники чесали за ухом и удивленно разводили руками.

Очень любил отец изобретать для себя новую мебель; был для этого у него столяр, которому он ее заказывал. То и дело появлялось у нас в доме какое-нибудь мебельное сооружение вида самого неожиданного. Помню деревянную двухспальную кровать со столбиками, поддерживавшими деревянную настилку, на которую можно было ставить что

угодно. Через год-другой кровать была ликвидирована. Помню огромный двускатный письменный стол у отца в кабинете, заниматься за ним можно было только стоя; если сидя, то на очень высокой табуретке. По бокам стол был обтянут зеленым коленкором, а внутри стола была устроена кровать: на ней отец спал года два. Воображаю, какая была духота! И это сооружение вскоре было ликвидировано. Вообще, не скажу, чтобы мебельные фантазии отца были особенно удачны: после годовой-двухгодовой жизни каждая из них отправлялась доживать свой век в амбаре или кладовой.

Странное дело! Отец был популярнейшим в Туле детским врачом, легко умел подходить к больным детям и дружить с ними, дети так и тянулись к нему. Много позже мне часто приходилось выслушивать о нем восторженнейшие воспоминания бывших маленьких его пациентов и их матерей. Но мы, собственные его дети, чувствовали к нему некоторый почтительный страх; как мне и теперь кажется, он был слишком серьезен и ригористичен, детской души не понимал, самые естественные ее проявления вызывали в нем недоумение. Мы его стеснялись и несколько дичились, он это чувствовал, и ему было больно. Только много позже, с пробуждением умственных интересов, лет с четырнадцати — пятнадцати, мы начинали ближе сходитьсь с отцом и любить его.

Другое дело — мать. Ее мы не дичились и не стеснялись. Первые десять — пятнадцать лет главный отпечаток на наши души клала она. Звали ее Елизавета Павловна. В самых ранних моих воспоминаниях она представляется мне — полная, с ясным лицом. Помню, как со свечою в руке перед сном бесшумно обходит все комнаты и проверяет, заперты ли двери и окна, — или как, стоя с нами перед образом с горящею лампадкою, подсказывает нам молитвы, и в это время ее глаза лучатся так, как будто в них какой-то свой, самостоятельный свет.

Она была очень религиозна. Девушкою собиралась даже уйти в монастырь. В церкви мы с приглядывающимся изумлением смотрели на нее: ее глаза сияли особенным светом, она медленно крестилась, крепко вжимая пальцы в лоб, грудь и плечи, и казалось, что в это время она душою не тут. Веровала она строго по-православному и веровала, что только в православии может быть истинное спасение.

Тем удивительнее и тем трогательнее была ее любовь к мужу,— католику и поляку; больше того,— во время женитьбы отец даже был неверующим материалистом, «нигилистом». Замужество матери возмутило многих ее родных. И произошло оно как раз в 1863 году, во время восстания Польши. Двоюродный брат мамы, с которым она была очень дружна, Павел Иванович Левицкий, богатый ефремовский помещик, тогда ярый славянофил (впоследствии известный сельский хозяин), совершенно даже прервал с мамой всякое знакомство.

С тех пор, как я себя помню, отец уже не был нигилистом, а был глубоко верующим. Но молился он не так, как мы все: крестился не тремя пальцами, а всею кистью, молитвы читал по-латыни, в нашу церковь не ходил. При молитве глаза его не светились таким светом, как у мамы; он стоял, благоговейно сложив руки и опустив глаза, с очень серьезным и сосредоточенным лицом. На большие праздники в Тулу приезжал из Калуги ксендз,— и тогда папа уходил в ихнюю, католическую церковь. И постился он не так, как мы,— с молоком, с яйцами. Но когда я был уже в гимназии, папа перешел на общий с нами православно-постный стол,— без яиц и молока, часто без рыбы, с постным маслом. Мама в душе глубоко верила, что как папа от безбожия пришел к вере, так от католичества придет к православию. Папа к обрядам относился равнодушно, видел в них только воспитывающее душу значение, но в православии не переходил. Когда он умирал, мама заговорила с ним о переходе в православие. Но он в смятении и муке ответил:

— Лизочка, не требуй от меня этого. Как ты не понимаешь? Когда наш народ и наша вера угнетены, отречься от своей веры — значит отречься от своего народа.

У мамы был непочатый запас энергии и жизненной силы. И всякую мечту она сейчас же стремилась воплотить в жизнь. Папа же любил просто помечтать и пофантазировать, не думая непременно о претворении мечты в жизнь. Скажет, например: хорошо бы поставить у забора в саду беседку, обвить ее диким виноградом. На завтра в саду уже визг пил, стук, летят под топорами плотников белые щепки.

— Что это?

— Беседку строят.

— Какую беседку?

— Ты же сам вчера сказал.

— Так это же я так только...

Семья наша была большая, управление домом сложное; одной прислуги было шесть человек: горничная, няня, кухарка, прачка, кучер, дворник. Но для мамы как будто мало было всех хлопот с детьми и по хозяйству. Она постоянно замышляла какое-нибудь весьма грандиозное дело. Когда мне было лет шесть-семь... Счисление я буду вести по своему возрасту, это — единственное счисление, которое применяет ребенок. Так вот, когда мне было лет шесть-семь, мама открыла детский сад (предварительно пройдя в Москве курсы фребелевского обучения). Он пошел хорошо, но дохода не давал и поглощал весь папин заработок; пришлось его закрыть. Когда мне было лет четырнадцать, куплено было имение; мама стала вводить в хозяйство всевозможные усовершенствования, все силы положила в него. Но имение стало поглощать весь папин заработок. Через три-четыре года его продали с убытком. И всегда, во всяком из маминых предприятий, было какое-то мученичество и жертвенный подвиг: работа до крайнего изнеможения, еда кое-как, недоспанные ночи, душевные муки, что все идет в убыток, старание покрыть его сокращением собственных потребностей.

Теперь, восстанавливая все в памяти, я думаю, что эта потребность превращать работу в какое-то радостно-жертвенное мученичество лежала глубоко в маминой натуре, — там же, откуда родилось ее желание поступить в монастырь. Когда кончались трудные периоды ведения детского сада или хозяйничания в имении, перед мамой все-таки постоянно вставала, — на вид как будто сама собой, совсем против воли мамы, — какая-нибудь работа, бравшая все ее силы. Папа как-то сказал:

— Вот какая масса у нас журналов, как много в них интересных статей и рассказов. Как бы хорошо сделать им систематическую роспись, — чтоб только что понадобилось, сейчас и найдешь.

И мама многие недели работала над систематическою росписью все свое свободное время. Ночь, тишина, все спят, а у книжных шкафов горит одинокая свеча, и мама с кротким усталым лицом пишет, пишет...

Помню еще, к папиным именинам мама вышивала разноцветную шерстью ковер, чтобы им завешивать зимою балконную дверь в папином кабинете: на черном фоне широкий лилово-желтый бордюр, а в середине — рассыпные

разноцветные цветочки. В воспоминании моем и этот ковер остался как сплошное мученичество, к которому и мы были причастны: сколько могли, мы тоже помогали маме, вышивая по цветочку-другому.

И вместе с тем была у мамы как будто большая любовь к жизни (у папы ее совсем не было) и способность видеть в будущем все лучшее (тоже не было у папы). И еще одну мелочь ярко помню о маме: ела она удивительно вкусно. Когда мы скоромничали, а она ела постное, нам наше скоромное казалось невкусным, — с таким заражающим аппетитом она ела свои щи с грибами и черную кашу с коричневым хрустящим луком, поджаренным на постном масле.

Отношения между папой и мамой были редко-хорошие. Мы никогда не видели, чтоб они ссорились, разве только спорили иногда повышенными голосами. Думаю, — не могло все-таки совсем быть без ссор; но проходили они за нашими глазами. Центром дома был папа. Он являлся для всех высшим авторитетом, для нас — высшим судьей и карателем.

Тихая Верхне-Дворянская улица (теперь Гоголевская), одноэтажные особнячки и вокруг них сады. Улица почти на краю города, через два квартала уже поле. Туда гоняют пастись обывательских коров, по вечерам они возвращаются в облаке пыли, распространяя вокруг себя запах молока, останавливаются каждая у своих ворот и мычат протяжно. Внизу, в котловине — город. Вечером он весь в лиловой мгле, и только сверкают под заходящим солнцем кресты колоколен. Там дома друг на друге, пыль, вонь сточных канав, болотные испарения и вечная малярия. У нас наверху — почти полевой воздух, море садов и весною в них — сирень, гулкие раскаты соловьиных трелей и щелканий.

У папы на Верхне-Дворянской улице был свой дом, в нем я и родился. Вначале это был небольшой дом в четыре комнаты, с огромным садом. Но по мере того как росла семья, сзади к дому делались все новые и новые пристройки, под конец в доме было уже тринадцать — четырнадцать комнат. Отец был врач, притом много интересовался санитарией; но комнаты, — особенно в его пристройках, — были почему-то с низкими потолками и маленькими окнами.

Сад вначале был, как и все соседние, почти сплошь фруктовый, но папа постепенно засаживал его неплодовыми деревьями, и уже на моей памяти только там и тут стояли яблони, груши и вишни. Всё росли и ширились крепкие клены и ясени, всё больше ввысь возносились березы большой аллеи, всё гуще делались заросли сирени и желтой акации вдоль заборов. Каждый кустик в саду, каждое деревцо были нам близко знакомы; знали мы, что в мрачном углу под стеною соседней конюшни Бейера растет кустик канупера, что на кривой дорожке — нёклен, а на круглой куртине — конский каштан. Да не только кусты и деревья и не только в саду. Все закоулки в саду, на дворе и на заднем дворе были близко знакомы, обгляжены до всякой щели в заборе, до всякой трещины в бревне. И были превосходнейшие места для всяких игр; под папиным балконом, например: темное, низкое помещение, где нужно было ходить нагнувшись, где сложены были садовые лопаты, грабли, носилки, цветочные горшки и где в щели меж досок ярко светило с улицы солнце, прорезывая темноту пыльно-золотыми пластинами. Много в этом подzemельи было совершено злодейств, много укрывалось разбойничьих шаек, много мучений пережито пленниками...

Это все — для общего понимания последующего. А теперь прекращаю связный рассказ. Буду в хронологическом порядке передавать эпизоды так, как они выплывают в памяти, и не хочу разжигать их водою для того, чтобы дать связанное повествование. Мне нравится, что говорит Сен-Симон: «То здание наилучшее, на которое затрачено всего менее цемента. Та машина наиболее совершенна, в которой меньше всего спаек. Та работа наиболее ценна, в которой меньше всего фраз, предназначенных исключительно для связи идей между собою».

Кажется, самое раннее из моих воспоминаний,— вкусовое. Пью с блюдечка чай с молоком,— несладкий и невкусный: я нарочно не размешал сахара. Потом наливаю из кружки остатки с полблюдечка,— густые и сладкие. Ярко помню острое, по всему телу расходящееся наслаждение от сладкого. «Царь, наверное, всегда пьет такой чай!» И я думаю: какой счастливец царь!

Очень смутно помню старушку-немку, Анну Яковлевну. Низенькая, полная, с особенными какими-то пукольками на висках. Я ее называл Анакана.

Сажу у себя в кроватке и реву. Она подходит и унимает меня:

— Ну, не плачь, не плачь; ты мой барин!

— А-на-ка-на!.. Я твой барин!

— Ты мой барин, ты мой барин!

— Я твой барин,— повторяю я, успокаиваясь и всхлипывая.

— Мой барин, мой барин... Спи!

Когда со старшим моим братишкой Мишей мы сиделись завтракать, Анна Яковлевна ставила перед нами тарелку с манной кашей и говорила Мише:

— Mischenka, Mishenka, iss schneller, sonst wird dieser пузырь alles aufessen!¹

В доме у нас большим почетом и уважением пользовался дедушка Викентий Михайлович; он иногда приез-

¹ Мишенька, Мишенька, ешь поскорее, а то этот пузырь все съест! (нем.)

жал к нам в Тулу из своего имения, села Теплого. Был он вдовец, штабс-капитан в отставке, с очень длинною и совершенно седою бородою, худощавый. Он был не родной нам дедушка, а папин дядя, брат его отца. У него папа воспитывался в детстве. По отдельным, случайно вырывавшимся у отца признаниям я заключаю, что жилось ему там очень несладко: жена дедушки, Елизавета Богдановна, была с самым бешеным характером; двух родных своих сыновей, сверстников отца, баловала, моего же отца жестоко притесняла,—привязывала, в виде наказания, к ножке стола и т. п. А дедушка, сколько мог, заступался за отца, ласкал его и шептал на ухо:

— Ты не обращай внимания на эту ведьму!

Папа относился к дедушке с глубокою почтительностью и нежною благодарностью. Когда дедушка приезжал к нам,—вдруг он, а не папа, становился главным лицом и хозяином всего нашего дома. Маленький я был тогда, но и я чувствовал, что в дом наш вместе с дедушкою входил странный, старый, умирающий мир, от которого мы уже ушли далеко вперед.

Папа,—взрослый человек, доктор, отец большой семьи,—перед тем, как ехать на практику, приходил к дедушке и почтительно говорил:

— Дядя, мне нужно ехать к больным. Вы позволите?

И дедушка разрешал:

— Поезжай, мой друг!

Вообще он держался во всем не как гость, а как глава дома, которому везде принадлежит решающее слово. Помню, как однажды он, в присутствии отца моего, жестоко и сердито распекал меня за что-то. Не могу припомнить, за что. Папа молча расхаживал по комнате, прикусив губу и не глядя на меня. И у меня в душе было убеждение, что, по папиному мнению, распекать меня было не за что, но что он не считал возможным противоречить дедушке.

Иногда из Теплого приезжала толстая и румяная эконожка, Афросинья Филипповна. У нее была дочь со странным именем Католя. По почтительному отношению папы и мамы к Афросинье Филипповне мы чувствовали, что она — не просто служащая у дедушки. Но когда мы добивались узнать, кто же она такая, мы не получали ответа. Чувствовалось, что в отношениях к ней дедушки есть что-то неладное и стыдное, о чем папа с мамой, уважая и любя де-

душку, не могли и не хотели рассуждать. И потом, когда дедушка умер, Теплое было продано наследниками, и Афросинья Филипповна переселилась с дочерью в Тулу, отношение к ней осталось по-прежнему родственным и теплым.

В детстве я был большой рева. Дедушка дал мне пузырек и сказал:

— Собирай слезы в этот пузырек. Когда будет полный, я тебе за него дам двадцать копеек.

Двадцать копеек? Четыре палки шоколаду! Сделка выгодная. Я согласился.

Но не удалось собрать в пузырек ни одной капли. Когда приходилось плакать, я забывал о пузырьке; а случилось вспомнить,— такая досада: слезы почему-то сейчас же переставали течь.

Кто-то меня однажды обидел, я длинно и нудно ревел. Подали обедать. Мама деловым тоном сказала:

— Ну, Витя, перестань плакать и садись обедать. А пообедаешь,— можешь, если хочешь, продолжать.

Я перестал и сел обедать. После обеда заревел опять. Мама удивленно спросила:

— Чего ты, Витя?

— Ты же сама сказала, что после обеда можно.

Так эта история фигурировала в семейных наших преданиях и так всегда рассказывалась. Но мне помнится, дело было иначе. После обеда братья и сестры со смехом обступили меня и стали говорить:

— Ну, Витя, теперь можно,— реви!

Мне стало обидно, что они смеются надо мною, и я заревел, а они еще пуще захохотали.

Были мы на елке у Свербеевых, папиных пациентов. Помню, была у них очень хорошенькая дочь Эва, с длинными золотыми волосами по пояс. Елка была чудесная, мы получили подарки, много конфет. Мне досталась блестящая медная складная труба, лежавшая среди стружек в белой коробке.